

# СКАЗАНИЕ

ПРО ЦАРЯ МАКСА-ЕМЕЛЬЯНА,  
БЕСПЛОДНЫХ ЦАРИЦ, ЖЕНУ ЕГО НАСТЮ,  
ДВЕСТИ ТЫСЯЧ ЦАРЕЙ ЕГО СЫНОВЕЙ,  
ГРАФА АГРИППА, ПУСТЫННИКА ВЛАСА,  
ВОИНА АНИКУ, ЦАРЕВНУ АЛЕНУ,  
МАСТЕРА-НА-ВСЕ-РУКИ И ПРОЧИХ ЛИЦ  
ИЗ БЫЛЫХ НЕБЫЛИЦ

*Сочинил Симеон, сын Хрисаифов*

## СКАЗ ПЕРВЫЙ

Начинаю сей сказ, грешный аз.

В некотором царстве нектаром текущем государстве, на самом краю света, в лето не то в это, не то в то, в некогда сущем Онтоне-граде, при свите, при полном параде жил царь.

Было сие встарь, во время оно.

Ликом царь до груди бородат, на сивых кудрях корона, золотом шит камзол, на державе алмазы да перлы.

Ну, вроде король бубён.

Не зол, не бурбон, не турок, не перс.

А только один как перст царь Макс-Емельян Первый.

Царю уже под сто лет. И колышется их величество, как пылинка на былинке. А сыночка наследного нет.

Вот и числят царя как последнего, хоть Первым и числится.

Роду Максову лет, поди, тысяча, а выбыли все из царской фамилии. Вымерли, точно их под метелочку вымели.

Был сын Адольф — принц двадцати годов, в вере истов и стоек душой. Вот о нем повествует историк Черпий Винний Младшій: вздумал царь на царице жениться религии идиоловой, только дело не выгорело — сынок был упрям, не хотел поклониться поганым богам. Связали его по рукам, по ногам — и в темницу. Царь еще раз ему: «Не перечь! Поклонись истукану!» Принц: «Не стану!» Ну и снес ему голову с плеч палача Брамбеуса меч, пострадал он ни за что, ни про что.

И с тех пор государство непрочное.

Не осталось в нем и иных особ, династии родственных, ни косвенных, ни прямых. Эта ли, та ли причина? Но факт, что особы разного чина — три ряда князей и княгинь — чинно лежат во гранитных гробницах, держат кресты во костлявых десницах.

Аминь.

А царю Емельяну-то Максу ребеночек снится.

Много лет до глубокой полночи на перинах из пуха павлиньего он ворочается, охает. Блох нет, а чешется то тут, то там. Ко вторым петухам лишь забудется. И царю во дремоте мальчоночки чудятся, пухлые, точно куклы. Перетянуты ниткой ручончки, с вихорками головки, как луковки, земляничные ротики, и животики, ровно тыковки.

Умиляется знатное общество, как агукают их высочества, как ножонками тыкают во льняные брабантские вышивки.

И коронка у всех на волосиках золотой молоточечной выковки.

Колыбельки везут на колесиках няньки в белых чепцах. Утирают ротки полотенцами с заглавными красными буквами. Королевы идут за младенцами при борзых заливистых псах, по лужайкам гуляючи. Имена-ми названы разными, а по отчеству — Макс-Емельянычи. Вот и едут во сне через просеки их высочества,

А из кружев — орлиные носики.

И под самую зарю  
снится старому царю,  
что приходит в спальни  
побаюкать маленьких.  
Царь качает колыбель,  
словно море корабель:  
— Тихо, курочка, цыц —  
спит Карлушенька-принц.  
Баю, принц Кириллушко,  
спи, усни, Атилишка,  
клюй орлиным носиком,  
Фридрих Барбаросынька.  
Отчего у́чет грозный Иоанчик?  
Хочешь? Батюшку ударь! —  
Кличет нянюшку с наколкой,  
чтоб подтерла под Николкой.

Ай да царь!

В поздний час государь как очухается — ничего не пищит, не агукается. Старец ждет его, статс-секретарь, лыс, как крыса. Со двойною седой бородой — две метлы под отвисшей губищей — одевает царя камергер. Собрались старичища министры, сто дворцовых фрейлин-мегер. От винища носища набухли, всё седые косища да букли, бородавки что пауки. Тальком сыплются парики, на паркет напылили. Вон — сенатор, с докладом в руке, десять лет лежал в нафталине. Паралитика в кресле везут, а в портфеле его — вся политика. Вот, одною ногою разут, генерал на двух костылищах. Их бы всех да в гробы! Лбы краснеют от шишек, кадыки да горбы. Приседают и пятаются из-за фалд золотого шитья. Ни штанишек, ни платища...

Эх, кабы хоть одно, да дитя!

А откуда?

Ку-ку.

Одинокو царю-старику.

Худо.

А народ осмеливается — посмеивается. Как народу — без смеха? Только фыркнет кто в кумачовый платок — и пойдет хохоток-грохоток и раскатится хохотом эхо. Так давно заведено — у одних куний мех, у иных ум и смех. Озорного словца не искать скоморохам — говорят, будто царь обрастет скоро мохом, хоть избу конопать! И хохочут опять. С поговоркой портрет намалюют шутя. Хоть на это запрет и в законе статья. Мало штук ли? Ан — на рынке возрос балаган, завертелись вертепные куклы. Удивляется ладь и старь: «Да, никак, наш царь, из тряпок состряпанный? Борода из пакли, на носу красные крапины»:

— Здравствуйте, господа!

Вот и я к вам явился сюда.

За кого вы меня признаёте:

за короля прусьского

или за прынца хрянцюзьского?

Я не есть король прусьский,

ни прынец хрянцюзьский,

а есть царь Максемьян.

Тут Петрушка как вскочит да как загогочет:

— Га-га-га,  
Максемьян без семян!

И народ, конечно, хохочет.

А зайдешь в заведение питейное, и оттуда доносится пенье шутейное.  
Усмехнулся хмельной штукарь:

— Исполать тебе, ненадёжа-царь,  
на полатях, знать, залежался ты  
и о деле забыл о благодном,  
именинной чаркой не жалуешь,  
не вантажно царишь, не балуешь  
государство медовым благовестом  
о рожденье сыночка Максыча.  
И чего нам ждать от тебя, сыча,  
от хрыча, в бороде утопшего?  
Коли стал не муж, коли сам не дюж  
постараться для блага общего —  
ты б из спальни убирался уж,  
допустил бы к постеле свадебной,  
кого девкам здоровым надобно  
кузнеца, удальца пригожего.  
Поработает он, играючи,  
ударяючи добрым молотом.  
Понесет она с того вечера  
в семь кило дитя, королевича,  
вороного крыла, кузнечьего.  
А что цвет не твой и портрет не твой,  
не казни за то — делать нечего,  
царь наш батюшка, если нет чего.

А то, чего нет, в государственной тайне содержится. Государство, оно  
ведь на тайне и держится. Царь-то царь, а правителем — статс-секретарь.  
Как бы нет его, а доносится скрип из угла кабинетного. От сиденья сутул  
и от прищура крив. У него лишь конторка да стул, а в шкафу под замком  
—= весь архив. Вот таков граф Агрипп, с гусиным пером за ухом. Ах  
и хитрый старик! Обучен всем наукам, и на нем государство стоит — и  
война, и финансы, и иные дела, какие неясны.

Кому-кому, а ему-то следует знать, у кого бы наследничка подзанять.

Так или сяк, а род Максов иссяк, и сыночек ему не дан ни от каких дам. А спрос-то ведь не с царя, а с графа Агриппа, с секретаря, бди и ношно и дённо.

Разбирает Агрипп архив — что ни лист, то другая корона. Тридцать было жен у царя, и всё зря.

В королевах ходила испанская донна, лицом хоть куда! Звать Терёза, тверёза и молода. А нет плода!

За Терёзою — польская краля Ядвига, молоко да клубника, захмелеешь, узря. И зря.

А за ней австриячка была — Фредерика, станом оса. Русская царевна Федора, в два кулака коса. Итальянская Леонора, что твоя лоза, персиянка Гюрза, Кунигунда была, Розалинда — инда счет потерял Емельянушка-Макс, Так-с.

А ни дочки, ни сына.

Абиссинская даже была негусыня, чернее всех саж да вакс. А за ней англичанка Виктория — родовита, бледна. П со всеми такая ж история: умом тонки, породой чисты, а внутри пусты.

Куда уж дальше ходить — из Парижа выписал Антуанетту, уж и модница, и любовница, только дитя бы родить!!

Ан того и нету.

Разослал государь по родителям жен, и не вемо, что деять должен? И не в том возрасте, чтобы ждать бодрости. И не так стар стал, чтобы сдать царство. И снедает царя тоска-с.

А за сим новый сказ.

## СКАЗ ВТОРОЙ

Посредине града Онтонна есть фонтан, а на нем Нептун, белый флаг сви-сает с фронтона, и гуляет вокруг топтун.

Дом воздвигнут на месте возвышенном, у дверей — с алебардой вратарь.

А внутри, за конторкою, — статс-секретарь. Мыслит он о предмете возвышенном среди умственных книг.

Сокрушается граф Агрипп — смертны суть человеки.

Жисть есть миг. И царям не навеки дана сия. Догорела династия. Род великий погиб.

Чуть что — государство без власти очутится. Ни узды, ни стремян. Как скапугаются Макс-Емельян, тут и смута!

И Агриппу как быть самому-то? В сердце — нож!

Ведь оно, государство, ему — вроде няни грудастой\* пососешь и соснешь. Чтoб давало со щедростью дар свой —» изощрайся хитрее, чем уж.

И к тому ж — граф Агрипп был ученийший муж. Знал он уж и Историю, и Астрономию, и где север, где юг, где поля и где пущи, только пуще прочих наук уважал Гастрономию — всякий глянс или фарш. Царский харч — не та-рель баланды. Царедворцу даны привилегии превеликие! Чем-чем, а печением граф обеспечен на сто лет.

На столе черепаховый суп, пуп фазана, да печень сазана, и шипучий нарзана сосуд, если пучит.

Попроси — и несут на салфетке суфле Сан-Суси, фрикандо соус рюсс, и для свежести жюс — сквозь соломку соси. И вино, под названьем «Помар» — точно кровь, аж садится комар.

А на сладкое — с сахарной пудрой сухарное лакомство.

Благостно.

Мудро.

Все начищено, гладко наглажено.

При царе государство налажено, есть и власть и ядение всласть.

А как каркнет Смерть, одинако кося и царя и псаря,— выкуси, на-кося! Хоть зубами стучи, хоть кричи — где ты, Макся?.. Забушуют кругом кумачи, Гришки, Стеньки пойдут, Пугачи... Весь архив разгребут — и на ветер. И тогда — не филе на тарель,— самого — на вертел, чтоб шипел, как филе натюрель. Может статься! Мясо графское — сочное. Чует статс-секретарь — дело срочное. И решать сей же час. Догорает же царь, как свеча-с!

Вдохновенье на графа находит. Он спасительный выход находит. Призывает к себе судью Адью — гроссмейстера в мантии, в маске. Лицо доверенное, проверенное\* Сочиняют они решение о Максе — высочайший вердикт. И пускай его Тайный Совет утвердит. А кто повредит —» привет с того света. Заседают вдвоем до рассвета.

Так что царская песенка спета.

Утренним чаем согрет, граф назначает Тайный Совет, Но — секрет. Сам вручает билет пригласительный. По чину, по сану, как приличествует:

во-первых, Их Величеству Макс-Емельяну, по-вторых, барону Ван-Брону, графу Джерафу, князю Освинясю, герцогу Герцику, судье Адье, отцу Питириму и еще пятерым.

Чуть свет на Тайный Совет едет двенадцать коронных карет. Но — строжайший секрет. Членам — двенадцать поставлено кресел, царю — трон. На креслах — двенадцать двуглавых ворон. Мантии к мантиям, парики к парикам. Седую главу повесил царь-старикан. Нутром свое положение чувствует. Но члены царю для близира сочувствуют.

Граф Джераф советует в Карловы Вары, барон Ван-Брон полечиться бобром, герцог твердит, мол, полезны отвары, князь Освинясь — медийской мазью... Молчит лишь судья Адья.

На столе ни еды, ни питья, ни варенья. Одни говоренья.

И пускай говорят! Как говорится, надо дать голове поварить, поговорить, выговориться, да не проговориться. А кто вопрекор проговаривается — тот судьей к статье приговаривается: бери узелок и — адье! Говорить — не пироги варить. А всего не переговорить.

Наговорились кто сколько хочет. Пора и кончать. Граф Агрипп звонит в колокольчик, кладет на бумагу печать.

Так сказать, начинается вынос:

— Вы нас, мы вас, Ваше Величество, любим. Вы наш отец, мы ваши люди. А роду конец. И где тот птенец, что наденет отцовский венец? Как ни сетуйте — нетути. А раз так, надо звать на царствие Рюриха из города Цюриха. Он-то плодиться мастак. И мы, холопыя вернейшие ваши, припадаем к стопам августейше-монаршим, спину гнем под меч или бич, верноподданно молим подписать отречение, браду постричь, корону сдать под квитанцию и, того опричь, отбывать на дожитие в страну Иностранцию, инкогнито, как никто. Вот — наш нижайший совет. Но — что скажет Тайный Совет? Мы — человек служащий, ваши указы слушающий.

А судья-то ключом бренчит, от тюрьмы. За дверьми — стража. Страшно. Пики. Пищали. В башне темно, кроmeshно. И, конечно, графья закричали:

— Ваше Сиятельство! Вы — что мы! Из одного из приятельства, кого — прикажите — низложим. На кого — укажите — корону возложим. Попрям старика.

Плавит Агрипп для печати сургуч, горяч да тягуч. Поелику царь малограмотен, пишет Ван-Брон за него на пергаменте: мы, мол, велим Рюриха звать и всю его знать.

Членам уже охота зевать, тянет к ужину тайную дюжину.

Перо из гуся судья очинил, Питирим освящает склянку чернил, как вдруг затряслось помещенье от стука.

Что за штука?

А штука-то вот какая.

Верь не верь — распахнулась дубовая, с вензелем, дверь, Ведомо богу, какими путями, а в залу бежит мужик, следит по паркету лаптями. Два гренадера с пищалями кричат позади:

— Осади! Сказано, чтоб не пущали мы! Стой!

Да поздно.

А бежит мужичонка простой, в шапчонке из собачонки. Нос тычком, волоса торчком. Кем зван? Кем послан?

Судья Адья аж выронил ключ, граф обжег персты об сургуч, ляпнул барон на пергаменту кляксу.

А мужик-то бежит, рван и нищ, бить челом эксвеличеству Максу.

Вот уже бухнулся у голенищ!

Ван-Брон его за зипун, а мужик обернись да плюнь, Питирим его за портки, а тот его пяткой ткни, Освинаясь бы схватил за лапоть, да боится мундир заляпать. Факт — срывает торжественный акт.

Челобитье не чаепитье — верноподданный раз настаивает, значит, важное дело есть. Хочет душу царю отвести, лобызает подол горностаевый.

А царь-то пока еще царь. Не вошло еще в силу решение, только держит перо от гуся. Под указом имеются все подписи, а вот крестик царя не стоит. Подождет отречение. Встать велит мужику:

— А какое твое мужиково прошение? В чем оно состоит?

Встал мужик, перед величеством стоит. Из очей он слезы слезные струит. Из-за пазухи он вынул инструмент, быстро пальцами забренькал по струне:

«— Эх ты гой еси, великий государь,  
сапогом меня по темени ударь,  
в кандалы меня железные закуй,  
заточи меня в далекий Верхотуй,  
только, царь, не отправляйся на покой,  
не подписывай бумаги никакой,  
а послушай ты холопьяго гонца,  
не сдавай злодею Рюриху венца.



Мы при нем, твои холопы, перемрем,  
никакого нет житьишка нам при нем,  
и ни хлебушка, ни редьки натереть,  
и тебе нет интереса помереть.  
Снаряжай-ка ты карету и коня,  
посади ты вместо кучера меня,  
мы жену тебе красавицу найдем,  
ребятишек народится полон дом.  
Есть такая во Камаринском селе,  
груди — во, что караваи на столе,  
очи — во, и руки — во, и щеки — во,  
и доселе не водила никого.

Тут пошел мужик плясать перед царем, бросил царь свою пергаменту с пером. Топнул об пол да и вышел из хором, стал он снова, как бывало, царь царем. Грозно крикнул он: «Карету подавать! Да коней поаккуратней подковать!» Рот разинул их сиятельство Агрипп, крикнуть силится, а голосом охрип. Царь по лестнице по мраморной идет, мужичонку рядом за руку ведет.

— Эх ты, сукин сын, камаринский мужик,  
кровь по жилочкам, как смолоду, бежит —»  
груди — во, и руки — во, и щеки — во,  
и доселе не водила никого!  
Эх, невесту посмотреть бы поскорей,  
народить от ней царевичей-царей.

Сел в карету грозный Макс-Емельян. Моложав и румян. На запятках арапчата, в красных туфлях и перчатках, а на козлах Фадей. «Гей!» — кричит на лошадей. Понеслись терема, и дворец, и тюрьма, и поля зашелестели, засвистели свиристели, кулики, перепела, в речке рыба поплыла, удят рыбу рыбаки, замычали быки, стали козы блекотать,— и такую благодать, что ли, Рюриху отдать?

За какой интерес?

Дудки!

И въезжают в темный лес на вторые сутки.

Магарыч за это с вас.

А за сим — третий сказ.

# СКАЗ ТРЕТИЙ

Есть бор, да еще бор, яр, да еще яр, река, да еще река, а по-за тем яром, тем бором, той рекой — есть лес ельник, ольшаник, осинник.

И есть там пустынный покой, и есть в том покое пустынный, веры незнамо какой.

Имя есть ему Влас, имеет над тварью чудесную власть, над чем по-мавает рукой — то родится и дивно плодится, хоть гусь, хоть лось, хоть карась. А вчерась исцелил он корову яловую.

Плачет баба, исходит жалобою — давно бы дитятю дала бы, а лоно — оно не полно. Кручинится мученица.

А пустытника если попросят, приведут, подведут — стань, болезная, тут,— он перстами бесплодного лона коснется, глянь — она и на сносях, скоро нянчить дитя разлюбезное.

Тварь порожней пройдет перед Власовой хатою, а уйдет сужеребой, суягней, брюхатою.

Влас сидит на пеньке у окошка, лукошко вьет.

А у пят толпятся опята, ребята грибные, сынки — подосиновики, внуки — боровики, здоровяки. Глянет — и новенький гриб, круглоголовенький, встанет.

Бросит Влас полосатое зернышко, а наутро подсолнух, как полное солнышко, привстает из низи́, и утыкано семенем донышко, выбирай и грызи!

Пальцем тыкнет — брюхатятся — тыквы аль арбузы.

Лишь моргнет, и стрельнет горошком стручок — ровный, как жемчуг перебранный.

А собою простой старичок. Бородою струится серебряной и смеется губами.

Так и живет. Хлеб жует, щи хлебает с грибами.

Было присел у крыльца — прутья вить. А на ветках витьвикает певчая тварь: «Царь, царь, удивить, удивить!»

И жук-золотарь жужжит: «Женим, женим, со всем уваженьем».

И верно,— возраст помеха ли?

Вот и приехали царь и мужик. Тот шапчонку сорвал, тот корону, что ли, в ноги упасть?

Только Власу поклоны не всласть, ни к чему ему власть. Усадил он царя на колоду, зачерпнул ему ковшиком квас, угостил его коржиком из крупитчатой ржи и изрек вроде так:

Ты, брат, царь Макс, не тужи, не снимай венца с темени раньше времени. Ходили ко мне и постарше. А как ты с дороги уставши, ложись-ка сюда поспать под ольху. Тут у нас не расставлена мебель. На своей бороде, что на птичьем пуху...

И растаял, как небыль.

Только пень посреди, весь во мху.

А сам — невидимкой стоит у сосны, насыляет на Макса летучие сны. Зелье поваривает, заговаривает:

Вы летите, соничи,  
на глаза на старичьи,  
сонники, заспатаи,  
крепкоспаи, снаатаи,  
развевайте царичьи  
худосны и суесны.  
Сонири, соневичи,  
навевайте любосны,  
досыпа, до просыша  
сните сны-молодосны.  
Снавсья, Сонушко Всеснявин,  
от уснявин до проснявин!  
Сны-всеснайки, сонари,  
соноумы, сонодумы,  
усыпатели спросонья,  
снитесь, сонные снири.  
Снамо дело, снопыри,  
вы подсоннечную сонню  
спать успите до зари.  
Красно-сон, зелено-сон,  
желто-сон, голубо-сон!  
Царь-сонница, дева-снарь  
пусть тебе приснится, царь!  
Дан сон,  
сон дан!

Радужным сном одолен Макс, государь Емельян. Хорошо под ольхою. И занятие сон не плохое. Ах, как мягко!

Спит, ладонь под щеку подложав. И не дряхл! Ликом стал моложав, будто отрок в снежных кудрях, бородатый, хороший, другой.

А рядом — бугор, весь травой заросший.

Видит царский внутренний взор, как травинки в землю раскручиваются, учатся, как расти. Трутся о камешки корешками — воду, соль запасти. Выбрались в воздух зеленые прутьяща. Глядь — надулся росток и расправился и устался в ясный восток. И хотя у ростка невысокий росток, а статный на зависть!

Показалась из чашечки завязь. Там платочков сложено пять. Глядь — и пошел отгибать то один, то другой завиток, солнечен, желт, как бархат.

Солнце жжет, травы пахнут.

А цветок лепестками распахнут, весь раскрылся невестой к венцу, а к нему зажужжали шмелиные крыльца, вскопошилось глазастое жадное рыльце, сел цветочный жених на пыльцу. Ох ты бог! Да как всадит до дна хоботок!

Диковинно!

А стрекоз, а жуковин! Со всех слетелись лугов. Но бугор, он уже не бугор. Дышит, желтым подсолнухом вышит...

Эва — чья? Не шея ли девичья? И из ситца плечо. И еще — будто в печке выпеклась грудь, и такая прозрачная выпуклость — прямо грусть.

Точно! Девка лежит в сарафане цветочном, и лицом — «точно солнце весной. Поросла колокольцами сверху и снизу, синевеется сизой фиалкой лесной. Ой, царь! Одолей, целина! Но уж больно лежит велика и сильна. Стан тяжелый, руки белые, в тонком пушку, перепархивают от ушка к ушку полосатые пчелы — от серьги к серьге, от руки к ноге. Телом светится сквозь сарафан, так бы всю пере-расцеловал! И под силу.

С жару, с пылу — сон не сон, голова от счастья кружна. Ох и сладко целует, притянешь как. И крепка, и нежна. В губы дышит она: «Хорошо, Максеньянушка, я твоя Анастасья, жена».

А мужик Фадей, нос тычком, волоса торчком, коней-лебедей запрягает, пару гнедых. Из ноздрей у них огненный дых, бьют копытами, свадьбу почуяли. Двойная дача овса! И карета цветами разубрана вся. Ну не чудо ли? Пара какая — царь и девка-подсолнух. На рессорах двойных, на колесах фасонных! Вихорьком завивается след.

С Анастасьей своей отдыхает царь, успокаивается,

А пустынный глядит, усмехаясь, вслед.

И чему это он усмешается?

В небе — синь, скачут версты.  
А за сим — сказ четвертый.

## СКАЗ ЧЕТВЕРТЫЙ

Шили сей Насте приданое, чтоб ходила прибранная. Набран тюль на фату, не видать на свету — так тонок.

Положили в сто картонок и парчу, и тафту, и цветного бархату, и на туфли сафьян, и сатин на сарафан, кружева к фартуку, ленты, гребни, всяческую сласть — девкам на деревне. И сейчас же слать!

Даже осерчала.

А сама — у зеркала. Приноравливается к царскому величию, к важности, к приличию.

Ресницами померцала — себе нравится.

Пять портних на полу златом вышиту полу сбороили. Меж собою спорили — выше ту а ли ту? Сметывали рюши — поросячьи уши. Искололи пальцы все о парчовое плиссе. Выдернули ниточки на груди из вытачки. Пригляделись,— воротник требует поправок, а у них, у портних, полон рот булавок. Скалывают, колют, повернуться молят. Затянули груди в лиф на китовом усе, в венецейском вкусе...

Какова Настя! Вот царям счастье!

Платье вышло — диво див! Юбка в десять ярусов, вся горит стеклярусом, шлейф — парчовая верста, и на плечи два хвоста, жаркие, собольи.

Хороша собой ли?

Ну и свадьба ж была!  
Золотили купола,  
горницы красили,  
по коврам дубасили,

пыль выбивали,  
сор выметали,  
да выбивали  
медные медали.

Перед банями  
барабанили,

чтобы барыни  
тело парили,

чтоб они  
вышли —  
сдобные,  
пышные.

Столяры-мастера позабыли про сон —  
смастерили три стола на три тысячи персон,

с резьбами игривыми,  
с крышками дубовыми,  
с ножками тигриными,  
львиными, слоновыми.

Били ночью в колокол,  
ночь не ночевали,  
золотым подсолнухом  
скатерть вышивали.

А на кухне-то  
в тесто ухнуто  
сколько масла-то!

По махровым коврам  
сам царь к поварам  
вышел засветло.

Перцем перчили плов, салили, солили,  
перья перепелов на плите палили.

и ножи об ножи повара точилй,  
у костра вертела поворачивали,

зашивали, чтоб жарить на жарком огне,  
глухаря в каплуна, каплуна в кабане,

кабана в быке...  
Царь сказал: «Добре».  
Посоветовал в муке  
обваливать ребра.

Подошел к колбасе,  
поглядел на лосей,  
чуть отведал карасей,  
похвалил лососей.

На слоеное тесто сметана текла,  
сама Настя-невеста пирог испекла,  
от начала стола до конца стола  
она полной хозяйкой зацарствовала!

Зашипели в чаду  
сковородочки,  
и Фадею дадут  
скоро водочки!

На двор холуи  
выкатили бочки,  
солоны валуи,  
хороши грибочки.

Отомкнули погреба —  
угощать по-царски:  
каждому по полгриба,  
каждому полчарки.

Каждому мужику  
кинуто по медяку —  
не ворованному,  
а дарованному.

Налетай, кто рьян,  
подбирай на счастье.  
На орле — Макс-Емельяп,  
а на решке — Настя.

Вот и гости проходят под арками,  
под венцами — с дарами, с подарками:

от барона Ван-Брона подушка для трона, от герцога Герцика ларчик для жемчуга, спальная ваза от князя Освиняся, поваренная книга от графа Агришпа, от отца Питирима средство для гриппа, от судьи Адьи с кандалами две бадьи, от графа Джерафа горжет из жирафа, от купцов первой гильдии шимпанзе из Индии, персики из Мексики, мокко из Марокко, настурции из Турции, специи из Греции, от народных старшин лиха тысяча аршин и сто возов недоимок за коров недоенных.

Агришп меж гостями похаживает,  
он за стол по чинам их усаживает.  
На руках гайдуки  
понесли пироги!  
Загремели трубы,  
заходили желваки,  
заскрипели зубы.

Вот стол так стол — аж гнется пол! Сиги, угри, пуды икры, в уксусе устрицы, в соусе лососи, филе в желе, крепки грибки, не плоха и уха, добрая вобла!

— Вобла, говорите?  
Вот благодать!  
Собла-говолите  
воблу подать!

Несут быка — в жиру бока. Какое жаркое! Пошел десерт в сиропе рис! Царь милосерд — пирог «Сюрприз»! Рахат-лукум, шоколад «Лукулл», кауны, грозди, — кабы мы гости!

По чинам сели,  
«Отче наш» спели.  
В зале знатные мужи  
взяли вилки и ножи.

Шуты, горбы, щиты, гербы, бакенбарды, усы, аксельбанты, носы, из жабо — жабы, ничего бабы, животы, бороды, в позументе ворота, епанчи из парчи, сюртуки, старики, лысины, парики, чиновники, сановники,



первые любовники, резвые барыни, цензоры, Булгарины, тайные советники, дипломаты, Меттернихи, вицмундиры, фраки, нагрудные знаки — чавкнули, чмякнули, чарками звякнули.

Кто кость гуся в засос сося, кто хвост леща в себя таща, посол впился в мосол лося, рыгает граф, быка сожрав, надрался дьяк, обняв коньяк, в зубах отца трещит овца —

вот жир так жир,  
вот пир так пир,  
вот царь так царь!

Царь ест, царь пьет, царь губы трет,— уж как царю пируется, с царицею целуется. Ему, царю, не до гостей — в опочивальне ждет постель — красуется, дубовая, принять чету готовая,—

подушки в пуд пуховые,  
сто тысяч птиц ощипано,  
пружинами пищит она,

Пора, уж ночь, и ждать невмочь. Браду на грудь повесил он, устал, зевается хрычу.

А вот царице весело: «Гулять хочу, плясать хочу!»

Дан знак скрипачам,  
чтоб расправили усы  
и приставили к плечам  
Страдивариусы,

Пианисты  
забренчали,  
тромбонисты  
заурчали,

шестеро  
капельмейстеров  
палочками  
постучали,  
чтобы трубы  
помолчали.

Что играть —  
назначили,  
начали!

Вышла Настя на круг, вынула платочек, настучал каблук сотню многоточек:

— Чтоб пеклись на печи  
новые царевичи,  
эх, дайте почин,  
скрипачи гуревичи!

Ты не кукси, кума,  
лучше Макса нема,  
я царей нарожу  
выше максимума!

Поздравляй, народ,  
с коронацией,  
станет Настин род  
скоро нацией! Эх, тех-тех-тех,  
девка Настя я,  
у меня в животе  
вся династия!

Отплясалась, села, часто дышучи. «Царь, пора нам отсель. Вишь, гостей окосело уже больше тысячи. А пойдем мы с тобой не в постель, а на стог духовитого сена. Я-то знаю, что ценно. Айда на сеновал, да чтоб крепко там целовал. Эй, девчата, подать сарафан! Да чтоб был к утру самовар».

За ночь оба утомились.  
В баньке доброй утром мылись.

В новой спальне двери заперли.  
Может, спали, может, чай пили.

# СКАЗ ПЯТЫЙ

А с того сеновала восемь с четвертью лун миновало.

И приносит Настасья к Максому трону первую тройню царевичей — пузанов, крикунов, ревмя-ревичей, пухлых, как куклы.

С вихорьками головки, как луковки, земляничные ротики, и животики, точно тыковки. «Носы тычком, волоса торчком!» — зашептались чевой-то вельможи.— Цыц! Пасть ниц! Говорить, что похожи.

Нету края радости царской, сам трещит перед ними бубенчатой цацкой, перстами щелкает, устами чмокает, назначает Фадея к царевичам дядькой. Награждает медалью. Доволен.

И чтоб бить с колоколен четырнадцать дён. Первый колокол с дом и с червонец последние.

Бей, звонарь Спиридон, в громовые, медовые, медные.

Ранным утром до зари  
влезли наверх звонари.  
Спиридон, Мартын, Антон  
начали перезвон.

День и ночь деньги вниз  
с колоколен тренькались,  
падали как миленькие  
гривенники, шиллинги,  
стерлинги, пфенниги,—  
деньги, деньги, где ни кинь.

В била бил звонарь Мартын  
медный сыпался алтын,  
а за ним полтинники  
и пятиалтынники.  
Тонко тинькали за ними  
центы, пенсы и сантимы,  
форинты и крейцеры,  
чтоб росли скорей цари.

Зазвонил звонарь Антон,  
гудом полон град Онтон,

забубнили гульдены  
золотыми бульбами,  
в колыбели на перины  
дробно сыплются флорины,  
колокольня — ходуном,  
звон — серебряным рублем.

Рукавицей дублёной —  
ан — ударил Спиридон!  
За рублем дан дублон,  
ливнем хлынули дублоны,  
потонул в дублонах трон,  
балдахины и колонны  
в грудах гульденов и крон,  
и повсюду — где ни стань —  
на рожденье платят дань,  
что ни день, что ни день —  
дань течет из деревень...

Отзвонили праздничный благовест, накричались принцы, наплакались, дело их. Отбаякали первых троих, молоком из грудей отпоили, из Царь-пушек про них отпалили, слышь — вторые пищат, заагукали. Только год, и опять же — приплод. Вот какой переплет. Настя к тропу приносит тройню вторую — двух сыночков и дочь.

И опять же пируют.

Что ни день, что ни день —  
дань течет из деревень,  
за дорогу, за корову  
деньги сыплются в корону.

Год еще прочь, и Настасья царю-государю к столетию третью тройню везет. Государю везет! Только стал он тревожиться очень. Озабочен, потерял и сон и покой. И понуро глядит, не осанисто. Полюбил он сыночков любовью такой — всех желает устроить в цари. Вдруг какой без престола останется? Межусобья начнутся да мести. Пусть царят себе вместе! Стульев хватит на всех. В государстве-то, эх, всё на царские плечи. Всем семейством-то легче.

Как четвертую тройню жена зачала — стал, болезный, слабость и хиреть. Не подымет с подушки чела. Так он с этой работы состарился. От лекарств не окреп и ослеп на один глаз.

И зовет он писца да нотариуса, чтоб писали последний указ.

Что ж! Процарствовал за сто.

Вот он, этот указ-то:

Мы,  
царь Макс-Емельян,  
венчанный  
самим богом на царство,  
завещаем на веки вечные  
верноподданному народу,  
дабы  
не свершилось бы  
прекращения нашему роду,  
отныне и присно и во веки веков —  
каждого нашего принца,  
счетом бы ни был каков,  
сына,  
и внука, и правнука всякого,  
только родится,—  
на царство  
венчать. И купно на трон всем садиться.

Крест поставил, подвесил печать восковую, с монаршим гербом.

Плачем, значит, исполнился дом. Попросил еще царь, чтобы подали квасу со льдом, самолично проверил указ, руки сложил на бороду, посмотрел на свою жену молодую в левый глаз и угас на сто первом году.

А за сим новый сказ.

## СКАЗ ШЕСТОЙ

Ветх Онтон-град, а немало в нем рвов да крепких оград от своих же воров, не свершилась бы кража.

У онтонской стены на часах стоит стража. Арбалеты в руках, скорострелки. А на башенных звонных часах стрелки ходят что медные раки

в тарелке и клешнями ведут час да час. День взошел, день погас. Вместо чисел мудреные знаки. И на солнечных ходит часах треугольная тень — часовым при воротах. Указует на срок в поворотах. И песок из сосуда в сосуд просыпается. Засыпает дворец, просыпается.

Что ни день — полдень бьет Спиридон, что ни ночь —\* бьет он полночь. Помер он — бьет часы Спиридоныч, И клешнею своей рак ведет. Так что время идет.

Лет прошло эдак двести.

Не имелось бы вести о тех временах, кабы около колокола в тайной келье не сидел бы ученый монах и не вел бы свой временник. На бараньих лощеных пергаментях — буквы разные в дивных орнаментах. Звери, змеи глазеют из них грозноглавые. И творение озаглавлено:

СОЧИНИХ  
СИЮ ВЕКОПИСЬ ПАМЯТНЫХ КНИГ  
СМИРЕННЫЙ МНИХ  
НЕКТОР НЕТОПИСЕЦ

И всему свое время проставлено:

В Лето Семь Тысяч.

Царь Макс-Емельян заболел и почил. В народе стон и несчастье.  
Царенье вручил королеве Настасье и сынов своих дюжине.  
Сыны выросли дюжие.

В Лето Семь Тысяч Пять.

Стон опять. Порядки Настасьины строги. На столах недосол. Судью Адью посадила в острог и Агриппа иа постный стол. Дни грозны. Барон Ван-Брон при публице высечен, три тысячи взял из казны. Герцог Гер-цик за козни уволен. Двор недоволен, и прав. Народ в печали.

В Лето Семь Тысяч Пятнадцать.

Веселие велие. Дюжину скопом иа царство венчали. Царскую службу дабы нести, сидят на престолах дву-надесяти в грановитом покое.

Про них описанье такое:

царь Андрей пребывал в хандре,  
царь Василий глядел, чтобы яйца носили,  
царь Касьян составлял пасьянс,

царь Лазарь на него мазал,  
царь Пров ел плов,  
царевна Фелица помогала коровам телиться,  
царь Герасим был несогласен,  
царь Пахом баловался стихом,  
царь Цезарь был цензор,  
царь Савва вкушал сало,  
царь Ерофей на дуде корифей,  
царь Федор был лодырь,  
а царь Кирилл всех корил.

Всем правителям выданы титулы — о народе радетели, народа родители.

В Лето Семь Тысяч Семьдесят Семь.

Брюхаты двенадцать цариц. Все принесли по тройне, и каждому быть на троне. Дел золотых мастера пали ниц, в дар принесли по короне. Стало царей полста, в лавках не стало холста, пошел царям на подстилки. Баб сгоняют для стирки.

В Лето Семь Тысяч Семьдесят Семь.

Худо совсем. В небе огненный хвост, летящий и реющий. В пароде пост. От цариц родилось пять сотен царевичей. К купели хвост. А Максом завещано: что родилось — долженствует на царство быть венчано. Стало пятьсот царей. Забили всех наличных зверей, а мантии справили. Срубили на троны рощу дубов. Престолы поставили в двадцать рядов. По три сажают на трон, дабы уселась династия.

Лето ещё

Померла всеблаженная Настя. В народе стон. Воцарилось молчанье и страх.

Сообщают о новых царях:

царь Ираклий затеял спектакли,  
царь Аким был не таким,  
царь Констанций устраивал танцы,  
царь Альфред наложил запрет,  
царь Георгий был пьяница горький,  
царь Нил не курил и не пил,  
царь Тарас полказны растряс,

царь Павел это поправил,  
царь Юрий завел райских гурий,  
царь Даниил сие отменил,  
царь Евлахий постригся в монахи,  
а царь Федот оказался не тот.

Лето новое

Вновь пять тысяч царей короновано. Корон уже нету. А каждый велит чеканить монету, чтоб имя и лик. Гнев монарший велик. Как царить без венца и жезла? Ищут корень зла.

Пять тысяч строжайших указов объявлено, а все же корон не прибавлено — нету их. Дальше — хуже, с царской службы дел мастера золотых — будто в воду бултых. С ними и злато. Град Онтон дрожит от набата.

В некое лето

О, великое бедствие — из града Оптона всеобщее бегствие: пропали пирожники и ткачи, сапожники и ковахи, некому печь калачи. В полдень вчера огласил ось известие: со двора убежали все повара с бочкой икры из Астрахани. Ни цари, ни царицы не завтракали. Пламень на кухне погас. Издан был августейший указ — звать из трактира Парашу. Цари ели пшеничную кашу. О, печаль! Царский род осерчал. Порешили — Фадея прогнать, титул отнять. А порядок дабы не погиб, согласилось собрание всецарское — возвращается граф Агрипп на сидение статс-секретарское. О, юдоль бытия! Истинно писано — все возвернется во круги своя.

Таково сообщение Нёкторово. То ли после бедствия некоторого — червь ли, жук ли, — а листы остальные по | жухли, источены оченно, и ни буквы на них не прочесть Ну, что есть!

А смиренному Нектору честь.

Кому сказ, кому сказка, а мне бубликов связка.

## СКАЗ СЕДЬМОЙ

Кроме грамот и указов, Симеоновых сказов о былом той земли, в том ли, этом ли веке в приходской библиотеке люди книжки нашли.



Начитаешься вдосталь — псалтыри, Библии, «Руководство — куродство как вести с прибылью», водевиль «Муж-любовник», календарь и письмовник, том насчет борщей и щец госпожи Молоховец, альманах «В час досуга», книга «Божий завет» и «Что делает супруга, когда мужа дома нет».

Между прочим, там имелась сказка детская одна. Историческая ценность в ней содержится. Она с сокращениями дана:

За высокими горами,  
за далекими морями,  
без обмана говоря,  
удивительное было  
государство, где царило  
двести тысяч три царя.  
Двести тысяч непорочных,  
три сомнительных, побочных. В результате поздней  
страсти

к молодой царице Насте  
некий царь Макс-Емельян,  
то ли спятив, то ли пьян,  
повелел беспрекословно  
все потомство поголовно  
воцарять, короновать,  
никого не миновать.

У фамильного палаца,  
как горох, цари толются.  
Кто успел и поседеть,  
ожидая, чтобы дали  
час на троне посидеть.  
Каждый жаждет на медали  
свой в короне видеть лик,  
с указанием, что велик.  
А медаль попробуй высечь,  
ежли ликов двести тысяч,  
хоть чекань на медный грош —  
всем грошей не наберешь.

Стольный град кишит царями,  
вьется за город черёд,  
Александры за Петрами,  
Николаи прут вперед.  
Тесно в очереди к трону.  
Если новые встают —  
мелом метят им корону.  
Спорят, метрики суют.  
У иных к груди подвешен  
личный титул — понимай  
кто стоит,— Долдон Мудрейший,  
Миротворец — царь Мамай.

Тут же в очереди торг.  
Тайно шепчет царь Георг:  
— За посидку на престоле  
отдаю полфунта соли.—  
Предлагается елей,  
чтобы лить на королей.  
— Продается, не хотите ль,  
титул «Царь Освободитель»,  
по дешевке уступлю.—  
Шепот: — Очередь куплю.—  
Покупает царь Малюта,  
у него нашлась валюта,  
и поэтому сему  
раньше царствовать ему.

А ведь каждый алчет власти,  
алчет мантию надеть,  
каждый бесится от страсти  
хоть на час, а володеть.  
Каждый в очередь входящий  
жаждет жить верховодяще,  
приказать и указать,  
подпись царскую поставить,  
на раба сапог поставить,  
непослушных наказать.

Но — фамилия громоздка,  
двести тысяч — вот загвоздка!  
Впрочем, трудность решена:  
чтобы все достигли цели,  
власть по типу карусели  
в той стране учреждена.

Карусель на площади.  
Только вместо лошади  
мчится там за троном трон.  
Тут же выдача корон —  
позолоченный картон.  
Карусель несется быстро,  
наблюдает два министра.  
Царь садится и царит,  
речи с трона говорит.  
Дату ставит летописец,  
лик рисует живописец,  
сочиняет стих пиит,  
и покуда царь царит —  
говорит он сколько влезет,  
только слезет — новый лезет,  
и опять такой же вид —  
полчаса монарх царит,  
дату ставит летописец  
лик рисует живописец,  
сочиняет стих пиит.

Граммофон играет гимн,  
поцарил и дай другим.  
Сдал бразды и тут же сходит,  
новый царь на трон восходит,  
речь народу говорит,  
дату ставит летописец,  
лик рисует живописец,  
сочиняет стих пиит.  
Карусель несется быстро,  
наблюдает два министра,

нет и крикнут на царей:  
— Не тяни! Цари скорей!

За наследником наследник!  
И уже во граде том  
лишь один остался медник —  
бьет медали молотком.  
На весь Двор один аптекарь,  
он же лекарь, он же пекарь  
один ткач, и тот портач,  
один кучер, пара кляч,  
один знахарь, он же пахарь,  
сохранился и палач,  
он же царский парикмахер,  
один кравец, один швец,  
так что дело неважец.

В силу памятных традиций —  
им, царям, запрет трудиться,  
дело их — держать бразды,  
хоть порфиры не без дыр,  
и лишились всех излишеств  
двести тысяч их величеств,  
потому что в некий год  
от царей сбежал народ,  
и от сеющих и жнущих,  
шьющих, ткающих и пекущих  
не осталось и следа.  
За два века — кто куда!

Оттого и недоволен  
грозный царь Аника-воин.  
Что ему картонный трон,  
летописец, живописец,  
рифмоплет и граммофон?  
Над царишками хохочет,  
власти хочет, саблю точит,  
но ни слова никому,

а себе лишь одному:  
— Сам себя царем поставлю,  
лобызать сапог заставлю,  
встречу если Смерть саму —  
черепушку ей сыму!

А пока во граде оном  
шла такая карусель —  
сирота жила Алена полкилометра отсель.  
Весть хозяйство ежедневно  
приходилось ей самой,  
хоть была она царевной от  
Настасьи по прямой.  
Не гнушалась ни мотыги,  
ни иглы, ни помела,  
хоть ее в гербовой книге  
родословная была.  
Нравом вышла непохожей  
ни на мать, ни на отца,  
а была она пригожей —  
ровно солнышко с лица!  
И кругла, как то светило,  
и душой теплым-тепла,  
и сама собой светила,  
когда ночь темным-темна.  
А идет, как чудо носит  
коромыслом два ведра,  
подгулял маленько носик,  
но Алена им горда.  
А какая недотрога!  
Подступиться и не смей.  
И хранила тайну строго  
о прабабке о своей.  
У нее была бумажка,  
и не сказка, и не ложь,  
что цари — не все от Макса,  
от Фадея были тож — у кого носы тычком  
и вихры стоят торчком.

А цари иные все  
были с римскими носами  
и с такими волосами,  
как смола на колесе.

Уж и сватались к Алене!  
Свахи шли, цена дана,  
предлагали ей на троне  
прокатиться, но она...  
Но она,— тут запятая.  
Тщились многие умы  
разузнать, тома листая:  
что Алена? Но увы,  
неизвестно, где хранится  
окончанье сказки той.  
Кто-то вырвал все страницы  
после этой запятой.

Ах вы, титулы, запятые, алфавиты завитые, буквы-змеи и орлы на листах раскрашенных, вязью разукрашенных,— вы мне дороги, милы! Ах вы, сказки-присказки о любовях рыцарских, драгоценные ларцы — буква Ферт, буква Рцы,— о Францыле с Рендивеной, о Дружневе, о любви королевича Бовы. Василиски, Сирины, с очесами синими! Сколько раз из-за вас мучилсѣ, томилсѣ, из-за вас один раз чуть не утопилсѣ. Сколько нас в полон ушли из-за той Аленушки, что по травам шла босой с распутившейся косой! Ах, глаза — два озера, ах, любовь без отзыва, может, помнит адрес он — сын Хрисанфов Симеон?

## СКАЗ ВОСЬМОЙ

Говорит Симеон, сын Хрисанфов:

— А ведь сказка — ложь не всегда.

Препожалте сюда, господа хорошие.

Вот местечко, плетнем огороженное, ранним овощем ровно поросшее, вот сарай, закрома.

И живет тут царевна Алена, не румянена, не белёна — хороша сама.

И Аленин домик что скворешник, и растет там, конешко, орешник, и орешек на нем золотой. Он для белки, вон той.

Убедитесь, пожалуйста, сударь,— дом как дом, есть буфет, в нем посуда. И зайдет если царь победней обогреться — есть наперсток винца, огурец, найдется и мисочка щец, слово милое, отдых.

А бывали у ней три царя худородных — до седых дотерпели волос, но царить им не довелось. «Прочь иди!» — гнали из очереди. Царь Таврило — Не Суй Свое Рыло, царь Ераст — Бог Подаст, и царь Родион — Поди Вон.

И царить-то им ни к чему! Каруселищу как чуму невзлюбили. Три царя пристрастившись были кто к чему: царь Ераст был горазд пилить и строгать, Родион — вроде он — мастер песни слагать, а Таврило — царь худородный — выше ставил труд огородный. А нельзя, раз высокое звание. Остается одно звание.

Цари тихие, битые, в очах печаль, хлебца просят немые чада, жены тряпки стирают в ушатах, а поесть-то ведь надо? И царевне Алене их жаль. Все на свете — соседи! Вечерок скоротают в беседе, о косьбе, о себе, о судьбе говорят. Выйдут гости из дому, и Алена для малых несытых царят хлеб сует — то тому, то другому. Вот какая была!

А себя блюла.

А блюсти себя не легко — есть корова, дает молоко, а как пахнет слоеным тестом! Как-никак, а невеста.

И повадился к ней знаменитый герой, воин Аника. Попробуй его прогони-ка! Грудь горой, усища чернейшие выются кольцом. И в глазах по черной черешине. Ходит к Алене с венчальным кольцом.

Саблей грохочет — свататься хочет: «Замуж иди! Любовь, мол, клокочет в груди. Растопчу, кого захочу, государство тебе отхвачу».

Но Алена ему — на порог, не тебе, мол, печется пирог, заложила калитку на палку — и за прялку. Тянет нить, чтобы кружево тонкое вить. Час садиться и солнцу. Вечер долгод, а дорог. И поет своему веретенцу:

Расскажи-ка ты,  
веретенце, мне,  
кто мне чудится  
по ночам во сне?

Веретенце жужжит, ничего не рассказывает, у Алены слезинка на щеку соскальзывает, и она, погрузив да помедливши, напевает о том же, об

этом же:

Где его найти  
и в какой стране,  
расскажи-ка ты,  
веретенце, мне.

Веретенце жужжит, ничего не рассказывает, и царевна оборванный связывает с концом конец, прикрывает ставнем оконце. И снимает венец с золотого чела, вяжет лентою косу ржаную, гасит жаркий светец, разбирает постель кружевную — сама плела. И как будто в ладье поплыла.

И как будто глядят на нее в глазок молодецких два глаза. Посмотреть бы на них хоть разок!

Да они из десятого сказа.

## СКАЗ ДЕВЯТЫЙ

Скоро сказка сказывается,  
не скоро дело делается.  
В домах Онтон-города  
на ложах с балдахинами  
без простыней и наволоков  
уснули их величества,  
уснули, не поужинав,  
проснутся, не позавтракав,  
и, сим обеспокоенный,  
в казенной канцелярии  
не спит его сиятельство  
вельможный граф Агрипп,—

подбородком к конторке прилип, хрипло дышит в халате наваченном шелковом, цифры грифелем пишет да костяшки на счетах отщелкивает — сколько лакомой снеди осталось? Малость самая! Залежалась еще шамая, да ее не приемлет душа моя. Стал стар, и катар. И вести королевство не просто. Чем прокормишь царей двести тысяч? И пшена-то в амбаре не сыщешь. Сводит лоб от сего вопроса. Околела свинья, что была супороса, по незнанию поев купороса. Пахарь-знахарь опять не привез ни овса, ни



проса. Огород лебедою порос. Пустота на столе и в стойле. Голод грядет бескормица! Что ли, в другое царство оформиться? Да оформят ли? Ой ли!

Папку с делами открыв, граф Агрипп разбирает архив.

Дай памяти, бог,— кто помог Емельяну? А не бог! Глянул — к чертежному плану приколот старинный листок. А на нем адресок пустынного некоего.

Двести лет — долгий срок! Может, нету его?

Он-то, он может выручить город Онтон! Может, в гроб еще не положен?

Граф Агрипп-то раз пять уже омоложен, заморожен и и вновь разморожен. И живет. Только пучит живот от дурного меню.

Вот и план расчертежен — луга, стога, полей триста га, пустырь, монастырь, дорога. Круто, полого, справа — канава, слева — дубрава, в сосенках — просека, к старому пню, посреди рощи. Чего проще?

Подойду и ответить вменю:

— Ваше Пустынничество! В чем причинность того, что ни сена коню, ни нюансов в меню, спаржа даже гниет на корню и крапива? Роста нет ячменю, нет и пива.

И пустынный, может, постигнет — как добыть провиант. И предложит какой вероянт.

Разработан проект и доложен. Заложено возок, пара кляч, едет граф, едет врач, со своим инструментом палач (если старец упрямитесь станет), и айда к тому самому месту, где нашел себе Макс Анастасью-невесту.

Не скоро графу ездится,  
недели едет, месяцы,  
каретой слякоть месится,  
то гать, то окоlesiца.  
Тут царские окраины,  
луга неубираемы,  
грибы несобираемы,  
накинута шлагбаума,  
и каждый под замком.

Пошла земля ничейная,  
а чья ничья — неведомо,  
какого назначения —  
незнамо, не разведано.

Но где ж дубравы цельные?  
Где сосны корабельные?  
Где рощи? Все порублены,  
невемо кем погублены,  
и всюду пни да пни.

А между пней растреснутых,  
колючками обнизаны,  
хвощи царят в окрестности,  
на них коронки сизые,  
в шипах-прыщах, как ящеры,  
их чертовыми тещами  
прозвали еще пращуры,  
а завладели рощами  
давно, видать, они.

Был бор, а весь обуглился.  
И все же граф любит:ся:  
дубы и те не выжили,  
хвощи их силой выжили,  
березы были — вымерли,  
хвощи хвостами вымели,  
езде торчат их заросли.  
Подпрыгнул граф от зависти:  
— Вот сила! Как взялась!

Со страху клячи пятаются.  
А где ж пустынный прячется?  
Ни пчелки, ни подсолнуха!  
И словно сон из сонника,  
пенек оброс опятами,  
а под хвощами сочными,  
за паутиной спрятанный,  
ну, меньше пальца,  
сморщенный сидит пустынный Влас,

махонек, тощ, как заморенный, поздний опенок. Чертов Хвощ из прыщавых своих перепонок, зубаст и остер, распростер свои жирные пины. До

пустынника только аршин. Дорастет — и конец разнесчастному Власу, как себя ни морщинь, как ни прячься.

Врач сам разглядеть его луною хочет, старец тихое что-то лопочет, а никак не слышать голоса, тоньше он волоска паутинного, г луню утиного пуха. Только это врачу не в диковину — вынул он слуховую слуховину, воткнул в оба уха, и послышалось глухо, но внятно и даже понятно:

Людичи, людичи,  
внучичи и отчичи,  
хвошнчей колючичи  
вылуцат вам очичи.

Оттащите вы меня  
от Шипа Шипочича,  
обрубите корни пня  
Дубача Дубочича.

А уж я вас выручу,  
чуру-чуду выучу.

Есть река, за ней река,  
за рекой еще река,  
а за самою рекастой  
рукавистою рекой  
есть такой невесть какой,  
и глазастый и рукастый,  
Мастер-На-Все-На-Руки,  
целый дом одной рукой  
подымает на руки.

Он и мастер  
кожу мять,  
он и масло  
отжимать,  
всякий злак  
сеять, жать,  
сайки с маком  
в печь сажать,

лес рубить,  
рыб ловить,  
пуд железа  
выплавить.  
Вам его бы  
полюбить —  
всем помог бы,  
стало быть.

Только чур — не тово!  
Силой мастера того  
на работу не поставить,  
и плетями не заставить,  
и цепями не связать,  
и обманами не взять,  
и себя погубите,  
если не полюбите.

Людичи, людичи,  
будьте — людо-любичи,  
пропадете, будучи  
людо-люто-губичи.

Оттащите вы меня  
от Шипа Шипочича,  
обрубите корни пня  
Дубача Дубочича.

Обе клячи сгорячав  
дом доскачут до ночи,  
там отдайте старича  
в ручичи Аленьчыи.

Тут зовет граф Агрипп палача с топором-секачом у плеча. И палач оказался полезен, поднял он свой железен топор, а топор у него не тупой — в пень как врезался с маху, срезал ровно двенадцать корней.

Ну и поднял дубовую плаху, да пустынника Власа на ней.

Завернули его аккуратно в бумагу — так-то будет верней,— чтоб пустынник в пути не пылился, чтобы дождь на него не полился.

Только кучер выхватил кнут — жеребцами вздыбились клячи, и Аленин домик тут как тут. И в оконце ее тук да тук.

Та от радости плачет.

Волшебство, не иначе!

И пошел в столице слух: за рекой есть такой — и кузнец, и пастух, и строитель, и кормитель, и солений всех солитель, как сапожник славится, и на всех управится, напечет пироги, всем сошьет сапоги, как кому понравится, всем кареты золотые, начеканит золотые, пакует всем корон, надоит всем коров, вина запечатает, указы напечатает, рыб наловит для ухи, изготовит всем кафтаны, будут статуи, фонтаны, пудра, кружево, духи, и стихи, и романы, блюда дичи и грибов! Говорят, нужна любовь? Ерундистика! Блеф! Беллетристика! Бред! Надо взять, и связать, й схватить, и скрутить, строго Мастера наставить, выдавать царям заставить полное довольствие. Вот тогда зацарствуем в, наше удовольствие!

Звать Анику-воина, накормить удвоенно, дать аркан и ятаган, ястреба клювастого, кобеля зубастого и коня как ураган — пусть изловит наскоро работягу Мастера да накажет настрого!

Взбарабанил барабан, псы грызутся лаево, трубы воют воево, царь Аника: «Я его!»

Только б знать — кого его

## СКАЗ ДЕСЯТЫЙ

Продолжаю свой сказ, грешный аз, да всё об том.

Далек град Онтон, ходьбы к нему дней двести, а что до езды касемо — выходит то самое. Нет туда ни карет, ни саней, ни живых, ни железных коней.

А летел гусь на святую Русь и принес превеселые вести о том королевстве в град Москву.

Повезло гусаку — попал не в пирог, не во щи, а к тому шутнику, что держит раек в Марьиной роще. Прочитал шутник, что намарано.

А в роще во Марьиной гулялось гуляние — троицын день. Колпак набекрень — зазывалы вопят балаганные, продает коробейник свою дребедень — кольца да зеркальца, голосит лотерейщик: «В копейку билет — золотой браслет,— счастье-то вытащи-ка!»

Собрались ребяташки около сбитенщика, рядом бой с ученой блохой,

а кого завлекают мороженники, а кого пироги с требухой и творожники, и качели, и карусель, и печеных кому карасей — все, что любо!

И гулял между прочего люда гость, приезжий из Тулы — прямой, не сутулый, молодой мастеровой, с той кудрявою головой и с очами горячими теми, что девицами ценятся всеми,— подмастерье Левши того самого тульского, что потом блоху подковал.

Шел Иван, подсолнух полузгивал и без пары себе тосковал.

Был он статен, во многих ремеслах умел, а невесты пока не имел. Дело, что ли, в Москве за невестами?

А у ящика с занавесками, с петухом на трефовом тузе — отставной солдат в картузе, с бородой из мочала, зазывает раек глядеть:

— Кому деньги некуда деть, подходи, начинаю сначала. Знаменитая панорама, двухголовая дама, мадам Сюрту!

А за ней перемена — два феномена в спирту. Султан подарил государю Петру.

А вот андерманир-штук — Бонапарт на тулуп меняет сюртук со стужи да кушак подтянул потуже.

А вот анонс: Макс-Емельяния — гусь принес в Москву на гуляние. Нашей программы гвоздь. Подходи, молодец, будь гость.

Двести тысяч правителей-кесарей, а ни косарей, ни слесарей. Царь у царя по карманам шуруют, что своруют, на то и пируют.

А вот град Онтон, благородство в нем и бонтон. Вон там дворцовый фонтан, на нем морской бог Нептун, а позади топтун, стережет серебряных рыб, ест их один граф Агрипп. Граф — монарший слуга, ему и тельное и уха из осетров да щук.

А вот андерманир-штук — онтонский герой Аника-воин. Ста крестов за войну удостоен. Кого хошь пополам сечет, за то ему и почет. В шуйце сабля, в деснице палица, смерть самую уколошить хвалится, а царевну Алену в жены забрать. Есть и пословица кстати — не хвались, идущи на рать, а хвались, идущи с рати.

А вот — онтоискская царевна Алена, не румянена, не белёна, бела и румяна сама. Не гляди — соскочишь с ума. Что Милена пред ней? Что Племира? Обойди хоть полмира, хоть мир — нет красавицы краше. Вот глаза — с бирюзою две чаши. А уста — цвет весенний с куста. Брови — райские перья.

Подходи, подмастерье, погляди. До груди с натуры картина. И цена за посмотри не полтина, а всего пятак, чуть побольше алтына.

Тут Иван как почувствовал в сердце толчок, как вручил он солдату с орлом пятачок да взгляделся в раешное око. «О!» — сказал он и охнул глубоко. Стало в сердце Ивановом голубооко. Вздохнул и любовь из картины вдохнул.

Что живая, Алена глядит, оживая, будто в гости Ивана к себе ожидая. И уста — цвет весенний с куста. Брови — райские перья. Замутилась душа подмастерья, оторваться нельзя. Хороши наши Параши, да Алена всех краше! И глаза — две глубокие чаши, словно зовут: «Отыщи!»

Подмастерье от ящика хоть оттащи, сзади очередь, каждый хочет ведь! Но Иван пятаками солдата задабривает, а солдат его даже подбадривает — стой, охота пока!

И нашла на Ивана злодейка-тоска, без Алены милей гробовая доска. Отошел он от шутника, от райка, спотыкается о колдобины, околдованный. Поспешает, решает.

Раз пришлось полюбить — так и быть. Хоть тонуть, хоть пылать в преисподней, хоть пузыриться в царстве морском, хоть ходить по раскаленным гвоздям босиком, а царевну Алену добыть.

Сим решением Иван преисполнен.

Соскочил с него всякий страх — вышел парень на тульский трахт, где столбы, стало быть, верстовые, где кареты летят почтовые, а на них сви-стуны вестовые. Ехали и фельдъегери на горячих конях, кучер их кнутом полосует.

Подмастерье стоит, голосует.

В одной руке — французский коньяк, в другой целковые держит свер-кучие, всем они по душе.

Это дело понравилось кучеру, и погнал он без отдыха в Тулу, к Левше.

А Левша за обедом — ложка в лапше. Заедает мосол соленой капустою — свой посол. Мыслит — как англичанам соделать конфузию. Был он первым умельцем — подковывал мух. Но блоха — куда мельче...

Тут Иван — в ноги бух!

Излагает ему всю печаль.

Осерчал Левша:

— Не проси попусту, нынче время не к отпуску. Бог видит — не выйдет! Я ль не тебя ото всех отличал, всем прехитростям обучал? Дело есть — превзойти англичан. Не потрафим коли Николаю-то Палычу, как поставит он нас под спицручную палочку — нашей тульской чести конец. Для меня ты кузнец, а не в разные страны гонец. Ишь вы нынче — давай вам девиц

заграничных! Нечего космы пылить, что Иван непомнящий. Не быть моей помощи, не проси. А невесту найдем на Руси. Охо-хо-хоньки.

Но Иван — жив, не жив — не вздыхается с ножек, а приставил к ребру вострехонький ножик и залился слезой, не дыша.

Удивился Левша, поднял рваную бровь:

— Да, никак, у тебя и взаправду любовь. Дело плохое. Ладно, сами сладим с блохою. Помню, помню — говаривал дьякон: «Любовь яко бог. Христа не гневи, не ходи противу любви». Энто закон Христов. Вот те штоф с вином искрометным, а еще сундучок с инструментом, тут и циркуль, и водерпас, и шурупчики про запас, самоходки-подковки на сапоги, и — господь тебе помоги.

А подковки те были Левшиной ковки. Только шагом на них маханись — и завертится в них заводной механизм. За Иваном тогда не гонись! Вот умели-то! Что Германия? Что Америка? Потому как душа у Левши, а умения нет без души.

Лишь набил Иван на подборы подковки — раз шагнул — очутился в Москве на Петровке, в чепчиках барыни загляделись на окна с товарами. На коне бы и то не поспеть. Два шагнул — да, никак, уже Невский проспект, щеголяют гусары усами, да подковки торопятся сами, глазеть не пора. Поднял молодец ногу повыше — не где-нибудь он, а в Париже у Гранд-Опера! Булевардами ходят гуляки, на них шапокляки да фраки, зафранцузило даже в ушах. Сделал шаг подмастерье от берега к берегу и попал через море на крышу в Америку, этажей — не берись, нэ считай. Расплатался — и сразу в Китай, змеев стая летит над Пекином, богдыхан отдыхает под балдахином. Чуть Ивана не слопал дракон, стаи змей на него засвистели, чуть подковки с сапог не слетели, и Иван опускается в город Онтон и стоит у Алены под самым окном, и выходит к нему невеста, будто все уже ей известно, и целует в уста сахарные, начались разговоры разаханые, так что дело к венцу, а сказка к концу.

Но Аника-то воин едет, вдруг Ивана он приметит? Только б не сглаз!

А эа сим новый сказ.

## СКАЗ ОДИННАДЦАТЫЙ

В некий час Аника-царь въехал в степь полынную, полуднем палимую, ищет-рыщет Мастера, посылает ястреба:



— Как увидишь с высоты мужика рукастого — возвращайся ты.

Ястреб возвращается, в клюве только ящерица:

— Так и так, Аника-во, не увидел никого.

— Ах, вот так и никого? — ятаганом его, разрубил пополам, только перья по полям.

Едет ночь, едет день — нету Мастера нигде.

Десять дней Аника-царь ищет-рыщет Мастера, посылает он гонца, кобеля зубастого:

— Как унюхаешь дух — мчись обратно во весь дух.

Мчится с розыска кобель, с языка его капель:

— Так и так, Аника-во, не унюхал никого.

— А-а, и ты никого? — и арканом его, задушил, потащил, дальше в поле поспешил.

Едет ночь, едет день — все такая ж невезень.

Тридцать дней Аника-царь ищет-рыщет Мастера. А планиде нет конца — всю туманом застило. Конь устал, сбиться стал, слушать повод перестал.

Пред Аникою курган — в небо упирается. УходилсЯ Ураган, взмылен, упирается. И ни взад, ни вперед. Плеть его не берет, хоть она и хлесткая, острая, двухвостая. Царь глазами завращал да зубами затрещал, двухзарядную пицаль всунул в ухо конское,—

пуля — раз,

пуля — два,

разлетелась голова, окровавилась трава.

Уж не мчатся Урагану. Царь Аника по кургану подымается пешком, с тем петельчатым арканом, ятаганом и мешком.

Мастер ли показывается?

Царь на то надеется.

Скоро сказка сказывается, да не скоро деется. День идет, ночь V идет, крутовато вверх ведет распроклятая тропа.

Всюду кости, черепа.

Солнце каску печет, на усища пот течет, о доспехи бьются камни, а на самой вышине

то ли Мастер,

то ли не —

машет длинными руками,

голова не голова,  
то красна, то голуба.

Влез Аника на курган, вырвал острый ятаган, завертел своим арканом, крикнул криком окаянным:

— А-а, попался мне, холоп, посажу клеймо на лоб, на цепи будешь жить, мне единому служить!

Светит солнце, полный день, а холопа — хоть бы тень.

Только смотрит на восток одинокий Цветок, на зыбучих песках, о шести лепестках —

желтый лист,  
красный лист,  
сизый лист  
и синий лист,  
голубой,  
оранжевый,  
стебель зелен,  
волокнист,

а в короне радужной смотрит милое дитя, жалость вымолить хотя:

— Не губи меня, царь, не руби меня, царь. Я без боя покорюсь. Я не жгусь, не колюсь, я — Цветок — не гожусь ни в огонь, ни в еду. Я всего только цвету. Пожалей красоту. Дай пожить на свету хоть три месяца. На планиде мы вместе уместимся.

Затянул Аника-царь свой аркан вокруг венца:

— А не дам и месяца. Даром, что ль, охотился? Только разохотился!

— Пожалей ты, царь, меня. Дай прожить еще три дня — подлетела бы пчела, золотую пыль взяла, чтобы выросли другие, разноцветные такие.

— А и часа жить не дам, и ни людям, ни цветам, повстречаю Смерть саму — Смерти голову сыму!

Ятаганом раз по стеблю, повалил Цветок на землю да втоптал лепестки в те зыбучие пески.

Потемнело от тоски само солнышко.

Небо черное, в звезде. Где ж он, Мастер? А нигде.

Закричал Аника-воин, и не криком — волчьим воем:

— Зря ты, Мастер, прячешься, погоди, наплачешься. Поздно, рано — изловлю, ятаганом изрублю, всю планиду загублю, изувечу, искалечу, встречу если Смерть саму — черепушку ей сыму!

А слова-то не пустяк!

И на трубчатых костях,  
на хрящах и косточках,  
с кобчиком как тросточка,  
малость пританцовывая  
бедренной, берцовой,—  
а попробуй-ка, возьми! —  
как цыганочка, костями  
плечевыми, локтевыми,  
и с косою у плеча  
(ча-ча-ча, ча-ча-ча),  
сцеплена железными  
скрепками протезными,  
щелкая старыми,  
вспухшими суставами,  
развороченная вся,  
позвоночником тряся,  
и верча ключицами,  
и стуча ступицами  
(до сих пор остеомит  
эти косточки томит),  
ставит пятки — фу-ты ну-ты,  
и лопатки вывихнуты,  
и опять-таки стуча:  
ча-ча-ча, ча-ча-ча,

желтый зуб в челюсти, две свечи в черепе полыхают вместо глаз, звезды светят через таз, вот те раз! Смерть на зов отозвалась, свои кости воло-ча, ча-ча-ча, ча-ча-ча. За ключицами — коса, Смерти-матушки краса, с лезвием жердь.

Говорит Смерть:

— Подойди поближе, воине Аниче, поклонись понизче. Я твоя матка. Помирать сладко?

Закричал Аника-воин, и не криком — дробным воем:

— Смерть, моя матка, помирать не сладко, дай прожить три года, будет тебе выгода, я тебе на выгоду своих, братьев выведу. Убери жердь.

Говорит Смерть:

— Воине Аниче, поклонись понизче. Я и месяца не дам — вызывал-то матку сам? Выйди-тко, дитятко.

Закричал Аника-воин, и не криком — смертным воем:

— Матка Смерть, моя родня! Дай прожить еще три дня. Я Алену молодую на замену приведу. Убери жердь.

Говорит Смерть:

— Воине Аниче, поклонись понизче. Уж давала, году-вала. А не дам и три часа. Вот те острая коса.

Ох, косы касание!

Сказано в Писании:

«Сим молитву деет, Хам пшеницу сеет, Яфет власть имеет, всеми Смерть владеет».

И с косою на плече,  
и в глазницах по свече,  
и назад поглядывая,  
подгибая лядвия,  
мосолыжками треща,  
узкорребра и тоща,  
и качая черепком  
по-над шейным позвонком,  
с выломанной полностью  
гайморовой полостью,  
с трещинами лобными,  
с выпавшими пломбами,

щелью челюсти ворча, что зубного нет врача, Смерть уходит, что ли, в гости, свои кости волоча, ча-ча-ча, ча-ча-ча, пальцами потряхивая, камфарой попахивая. и петельчатый аркан. И на каске — ящерица. Царь Аника — бездыхан. Не добился Мастера. А ведь ждет династия — все потомство Настино!

Поздно — час двенадцатый. Завтра — сказ двенадцатый.

## СКАЗ ДВЕНАДЦАТЫЙ

Во своей канцелярии, за дубовым столом с канделябрами, граф Агрипп, покоен и бодр.

Вишь, брат,— полный порядок.

Выбрит, гладок, сюртук округлился у бедр.

Как же! Экий размах-с!

Мирно спи, Емельянушка-Макс. И тебе-то в могилке приятнее. Королевство во славе, в красе. И питает его предприятие —

«Мастер-На-Руки-Все».

Может сеять, и веять, и печь оно. Все умеет, шельмец. Двести тысяч царей обеспечено и столом, и престолом. И с безрыбьем конец, с недосолом.

Дело только за малым — за тем добрым малым.

Уж Аника-то не подведет, на аркане его подведет. Но — гляди в оба у гардероба. Лишь возникнет Аника, войдя,— тут же с цепью и стражей—судья. И в Бастилию, за насилие. Мысль не напрасная — личность Аника опасная. И любовь тому Мастеру дать, чтобы Власов наказ соблюдать,— есть блудница у нас Мессалинка, что поет «Эх, калинка-малинка». Не учить — как любить — ее. А покуда прибытия ждать, надо события упреждать, учреждать Учреждение. Граф во всем ценил упреждение.

Первым делом — перст направляющий, Управляющий, щи сметаной себе заправляющий. Должность сия, перста, для его сиятельства. Обувь шить ли, пластроны стирать ли — в каждом деле нужны надзиратели, чтобы вроде спиц в колесе

На-Все-Руки

работали все:

месили и квасили,

солили и красили,

пекли, волокли,

клепали, трепали,

переливали, вертели,

полировали.

Их артели место в подвале.

А над ними бдительный взор, ревизор, чтобы Мастер, тово, не припрятал товара, со стерляжьей ухи «не снял бы навара — рук-то целых аж две у него!

Вот как раз сюда и царей.

Царь Кирей различает, что лук, что пырей.

Царь Ерема не плох для приема сапог.

Царь Тит за валяньем сукна приглядит.

Царь Касим, пожалуй, кассир.  
Святополк в рыбе ведаёт толк.  
Царь Георг знает масляный торг.  
Царь Онуфрий — ботинки да туфли.  
Царь Федот — счетовод,  
но по линии соков и вод. Царь Антип — непри-  
емлемый тип,  
он спиртное приемлет.  
Царь Тарас — чтобы Мастера тряс,  
если задремлет.  
Царь Евграф — налагать на работника штраф.

А цари ведь шиты не лыком. Норовят и украсть. Не ударить бы ликом в грязь в предприятии столь великом. Да присмотрит за ними князь Освинясь. А чтоб князь не соделал чего с добром, да присмотрит за ним барон Ван-Брон. А чтоб их уберечь от соблазна — да взирают в четыре глаза герцог Герцик и граф Джераф, поощрения возжелав.

А дабы соблюдать проформ — надо Мастеру дать прокорм, чтоб помои не кисли. И про что его мысли? Несгораемый нужен ларец, никакими ключами не отворец, для особых бумаг помещения. И нужны для царей помещения. А для этого годен Макс-Емельянов дворец — двести лет как свободен. Был забыт и фанерой забит.

Так что дело ясно до йот. Граф Агрипп указ издает — звать врача, палача, живописца, пиита, открывать помещенье, какое забито, отрывать от дверей фанеру, занавесить брезентом богиню Венеру, красить в сурик полы, тронный зал разделить вроде улья да расставить столы и конторские стулья, перья выдать, которые чинятся, наливать чернила в чернильницы, вешать на стены Максины лики и Настины, и — покуда — терпение. Делать вид, как бы Мастер на месте.

Во дворце — только перьев скрипение.

А вот Мастера как бы и нет. От Аники ни слуха, ни вести. Уж царями разграфлены пухлые дести. Ходит граф аккуратно к себе в кабинет. И сидит, как бы Мастер на месте. А вот Мастера как бы и нет. Граф Джераф изгибается — предан без лести и глядит, как бы Мастер на месте. А ведь Мастера нет!

Как зеленый огурец  
цельно-малахитовый —

с утра до ночи дворец  
занят волокитою.

От зари до зари  
дело делают цари.  
Ставят крестики и птички,  
заполняют рапортчики —  
что обязан Мастер дать,  
что принять и что продать,

И зевают с одури  
Карлы, Павлы, Федоры,  
а Людовики с Петрами  
чешут спины скипетрами.

Антиохи и Титы  
охают от скукоты.

От безделья окосев,  
говорят величества:  
— Мастер-На-Руки-На-Все  
номинально числится,

как бы есть, и как бы нет,—  
в этих обстоятельствах  
зря на службу в кабинет  
ходит их сиятельство.

А еще, роняя кляксы  
и окурками соря,  
говорят, что не от Макса  
худородных три царя.

Мол, нашел Агрипп премудрый  
в армуаре под замком  
мемуары про амуры  
королевны с мужиком.

Те мастарды, говорят,  
стали грядки ковырять,  
и уже у них растет  
даже спаржа — первый сорт!

От речей дворец гудит:  
— Самого судьи Адьи  
это юрисдикция!  
Три монарха — фикция!

И какого мы рожна тут скучаем от пшена? Сатисфакция нужна, конфискация нужна, строго доискаться и — применить все санкции, и не очень цацкаться с теми самозванцами, а поправших принципы, ставших псевдопринцами — затравить зверинцами, исколоть трезубцами и внести презумпцию: спаржу их продукции отобрать и сожрать до последней унции. Это в нашей функции.

Никуда не денутся! Есть юриспруденция! Хоть Фемида и стара, зверь — не старушенция!

И доходит роптание оное через ухо всегда бессонное к самому, наверх, что на стыд, на грех — три царя незаконнорожденные завели дома огороженные, и не вемо, по чьёму почину, извлекают рыб из реки, шьют овчину, стреляют дичину, сеют злак и муку толкут, из муки пироги пекут, волокут не в казну Агришову, а к столу, для гостей открытому. А кто гость у них? Говорят, жених, молодой, из земли отдаленной. А за кем? За царевной Аленой! А у ней, у молодой, с двух буренушек удой, значит — сыр и творог, со сметаною пирог, есть и редька, и лук, и укроп, и урюк, чего быть не могло у Агришпа самого. Раздувают сапогом в новой кузнице огонь, искры кверху кружатся, жаром пышет кузница, а жених промеж них из мехов пофукивает, молотком постукивает, по гвоздочкам цокает, неизвестно, что кует, улетают искры вверх, говорят, на четверг свадебку назначили, так ли все, иначе ли? Молодых венчает Влас, лысоват и седовлас, на цветы благословясь! Так ли все, иначе ли, молодые веселы и в саду развесили пестрые фонарики.

Это он, это он, что Аленой утаен,— Мастер-На-Все-На-Руки! Так что дело первое: приготовить вервие и колодки на глотки, на ноги и на руки, да сильней завертывай, пусть как дерево трещит! К делу Мастера тащить. Ишь какой увертливый! Дом Аленин разобрать, а Алену разыграть в кости, что ли, в карты ли! Так цари закаркали.



Срочная получена  
от Агриппа санкция,  
палачу поручено  
сторожить у карцера.

Но еще от канцлера  
к Мастеру — дистанция.

## СКАЗ ТРИНАДЦАТЫЙ

Завершаю свой сказ, грешный аз.

Идут толпою цесари  
с дубинками в процессии,  
с кривляками-принцессами,  
с поклонами, с присестами.  
Аттилы п Людовики  
несут цепей пудовики,  
а Николаи Первые  
шпицрутены и вервия,  
чтоб Мастера вязать.

Ликуют их величества,  
шпы корон колышутся,  
несметное количество  
колючек в небо тычется.  
То — ящерами крючатся,  
то — как паук с паучицей  
шагают их колючества.  
Что из того получится —  
еще нельзя сказать.

Три царя спешили, шилом в кожу тыкали, шили, шили, шили сапоги бутылками. На открытом воздухе шили пару пятую, забивали гвоздики, прошивали дратвою, кончики откусывали, луковкой закусывали. Где царевна проживала — с огорода луковицы. А Алена пришивала на кафтаны пуговицы. А Влас-седовлас собирал травы на дорогу про запас от любой отравы.

А Иван все клевал молотком по наковальне. Самоходки он ковал, видом одинаковые. Две подковы беговые, номера сороковые мужикам на сапоги, а Алене на сапожки две с узорами дуги — тридцать пятый номер. Ножки в самой норме! Уж Иван заканчивал, силу в них накачивал. Заправлял в колесики медные волосики. Циркулю не верил, в две ресницы мерил. Пять карат на оси, аккурат как часы! Получилось мировое, за год не испортятся.

А Алена на него смотрит не насмотрится.

Вот она, любовь-то!

Остается только пришурупить с толком, чтобы каждый сапог ровно шел, не кособок, и — летите, ноги, вихрем без дороги! Да успеют ли? Гляди — пыль до неба впереди! А что цвет не твой и портрет не твой,

Пылица поле застила  
от царских ног топчущих,  
идут грабастать Мастера  
хвощей колючих полчища,  
уже заметны издали  
на них коронки сизые,  
веревки выются петлями...  
Обуться-то успеют ли?  
Валом валят — беда!

Два шурупа, два винта вёрткою отверткою — и как будто все обуты в беговые сапоги, разгоняйся и беги! Вот какая быстрота — мимо только пестрота! Все двенадцать каблуков поднялись до облаков, даже искры из подков! Сто ветров заговорило, что архангеловый глас. Раз — на радугу Гаврила, а за ним пустынный Влас.

Мир под радугой той — точно блюдо расписное, с океанскою, лесною и земною красотой!

Глаз не верит — удивлен и Ераст и Родион всей планиды облику.

И с Аленой об руку мчит Иван по облаку, как по зимнему ледку, и целует на лету! Это что — летание! Фигурное катание. Пять соделали колец, и расписались под конец, и встали солнцу под венец. И на веки вечные вот уж и повенчаны!

На землю сверху глянули:  
в стране Макс-Емельянии  
хвощи едва мерещатся,

с собою сами хлещутся.  
Пускай! А ну их, иродов,  
придет пора — их вырубят,  
придет пора — их выполют,  
и может, сами выгорят.  
А нам уж не до них.

Ведет жених Аленушку в сторонушку свою. Полетели вокруг света, без ваката, без рассвета, и напротив месяца солнце сутки светится. Опустились в Индии. Их слоны увидели, удивились чеботам, кланяются с топотом и, добрым хоботом трубя, подарили им себя. А слоны — на счастье, белые, ушастые.

Вот так путешествие! Над Китаем шестеро со слонятами летят и уже домой хотят. Это дело легкое — близко все далекое!

Расшагались сапоги, и у всех из-под ноги выскочнули искорки, больно горы высоки, города и выселки. Наконец-то и место искомое, но Ивану оно незнакомое. И не те дома и растенья, и былых уже просто нет!

А не ведал Иван-подмастерье, что не год прошел, а сто лет или все полтора. И глядит Родион на Ераста, на Гаврилу пустынный Влас, и глядят они в дюжину глаз, над невиданным градом кружатся и понять, что за город, тутятся.

Тут Иван-подмастерье с Аленой заприметили рощу зеленую. И все шестеро начинают во град сошествие, а внизу хорошо известно, что явились жених с невестой, нарядились в цветы дома, их встречает бывалый солдат Фома, и в нарядном уборе Золушка — не состарилась ни вот столечко, и встречает их сталевар Макар, что железную ложку в огонь макал, школьник Сеня из «Именинной», из поэмы не именитой, и ребята голубоглазые, что на горы-вершины лазают, и Сметанников из ботаников, и Варвара Хохлова, его жена, за пчелою ухаживает она, и поэт Богдан, себе на уме, Ваня с Машей из сказки «Война — чуме», летчик, с облаком разговаривающий, и еще другие товарищи, и несут молодым хлеб-соль и ведут их за белый стол.

Что за город, что за град без замков и без оград? Что за царство-государство, где ни рабства, где ни барства и, серьезно говоря, ни единого царя, ни единого купца, ни единого скупца, ни единого монарха, ни единого монаха, а какие водятся — день за днем выводятся? Что за славная семья! На столе пирог подовый, пышной выпечен подковой с вензелями

«И» и «А»! Все расселись по местам, и подарочки готовы разлюбезнейшим гостям — выбирай, что любо, сам!

Вот — граненые камни, что цари ценили встарь, а вот — на всякое уменье инструментов полный ларь!

Ваял Гаврила, бывший царь, и не яхонт, не янтарь, а для грядки плодородной огородный инвентарь, вот он наконец-то, снился с малолетства!

Взял Ераст не рубин, а топор, чтобы рубил, и не розовый топаз, а пилу и ватерпас — плотник по призванию, по его признанию.

Внял царь Родион не сапфир-лабрадорит, а в сто ладов аккордеон и народ благодарит. Очень гармоничный, и не заграничный!

Взял Влас не алмаз, им не соблазнишь его! А растить дубовый бор — головной взял убор старшего лесничего.

Будто знал уже народ, кто какое выберет — град Онтон наоборот, град Онтон навыворот, где не слышно: Ваша честь, Ваше благородие, где встречают-величают: Ваше Плодородие, Ваше Мужество, Ваше Качество, Ваше Дружество, Ваше Ткачество, Ваше Слесарство, Ваше Пекарство, Ваше Лекарство, Ваше Певчество, Ваша Скорость, Ваша Смелость, Ваше Человечество!

И живет во всех домах, на земле и на реке — сведущий во всех делах Мастер-На-Все-На-Руки! Все ему удастся, в злые руки не дается, он — за свадебным столом, со звездой над челом, поздравляет молодых, пьет до доньшка за них.

И я там был, самолично «Столичную» пил, и по усу текло, и в рот попало, стало в душе тепло, лобызался я с кем попало, от жены мне за то попало, влез я потом на стул, думал, да вдруг уснул, сижу верхом на сазане я, недели на меня колшак, стали в бока толкать, но снилось мне все «Сказание», и Макс-Емельян, и Настя, и Влас, и Левша, и Мастер, и все, кто имел касание и кто принимал участие.

Ивану с Аленой — счастье!

Счастье, и нас не минь!

Аминь.

1962 - 1964